

Жена — эпизод 15 из 19

Возвращаться домой, где все так радовались моему отъезду, при дневном свете было неловко. Остаток дня до вечера можно было провести у кого-нибудь из соседей. Но у кого? С одними я в натянутых отношениях, с другими незнаком вовсе. Я подумал и вспомнил про Ивана Иваныча.

Поедем к Брагину! сказал я кучеру, садясь в сани.

Далече, вздохнул Никанор. Верст, пожалуй, 28 будет, а то и все 30.

Пожалуйста, голубчик, сказал я таким тоном, как будто Никанор имел право не послушаться. Поедем, пожалуйста!

Никанор с сомнением покачал головой и медленно проговорил, что по-настоящему следовало бы запрячь в корень не Черкеса, а Мужика или Чижики, и нерешительно, как бы ожидая, что я отменю свое решение, забрал вожжи в рукавицы, привстал, подумал и потом уж взмахнул кнутом.

Целый ряд непоследовательных поступков... думал я, пряча лицо от снега. Это я сошел с ума. Ну, пускай...

В одном месте на очень высоком и крутом спуске Никанор осторожно спустил лошадей до половины горы, но с половины лошади вдруг сорвались и со страшною быстротой понесли вниз; он вздрогнул, поднял локти и закричал диким, неистовым голосом, какого я раньше никогда у него не слышал: Эй, прокатим генерала! Запалим, новых купит, голубчики! Ай, берегись, задавим!

Только теперь, когда у меня от необыкновенно быстрой езды захватило дыхание, я заметил, что он сильно пьян; должно быть, на станции выпил. На дне оврага затрещал лед, кусок крепкого унавоженного снега, сбитый с дороги, больно ударил меня по лицу. Разбежавшиеся лошади с разгону понесли на гору так же быстро, как с горы, и не успел я крикнуть Никанору, как моя тройка уже летела по ровному месту, в старом еловом лесу, и высокие ели со всех сторон протягивали ко мне свои белые мохнатые лапы.

Я сошел с ума, кучер пьян... думал я. Хорошо!

Ивана Иваныча я застал дома. Он закашлялся от смеха, положил мне на грудь голову и сказал то, что всегда говорит при встрече со мной:

А вы всё молодеете. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы дали.

Я, Иван Иваныч, приехал вам визит отдать, солгал я. Не взыщите, человек я столичный, с предрассудками, считаюсь визитами.

Рад, голубчик! Я из ума выжил, люблю честь... Да.

По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я мог судить, что своим

визитом я сильно польстил ему. В передней шубу с меня снимали две бабы, а повесил ее на крючок мужик в красной рубахе. И когда мы с Иваном Иванычем вошли в его маленький кабинет, две босые девочки сидели на полу и рассматривали Иллюстрацию в переплете; увидев нас, они вспрыгнули и побежали вон, и тотчас же вошла высокая тонкая старуха в очках, степенно поклонилась мне и, подобрав с дивана подушку, а с полу Иллюстрацию, вышла. Из соседних комнат непрерывно слышались шёпот и шлепанье босых ног.

А я к себе доктора жду обедать, сказал Иван Иваныч. Обещал с пункта заехать. Да. Он у меня каждую среду обедает, дай бог ему здоровья. Он потянулся ко мне и поцеловал в шею. Приехали, голубчик, значит, не сердитесь, зашептал он, сопя. Не сердитесь, матушка. Да. Может, и обидно, но не надо сердиться. Я об одном только прошу бога перед смертью: со всеми жить в мире и согласии, по правде. Да.

Простите, Иван Иваныч, я положу ноги на кресло, сказал я, чувствуя, что от сильного утомления я не могу быть самим собой; я поглубже сел на диван и протянул ноги на кресло. После снега и ветра у меня горело лицо и, казалось, всё тело впитывало в себя теплоту и от этого становилось слабее. У вас тут хорошо, продолжал я, тепло, мягко, уютно... И гусиные перья, засмеялся я, поглядев на письменный стол, песочница...

А? Да, да... Письменный стол и вот этот шкафчик из красного дерева делал моему отцу столяр-самоучка Глеб Бутыга, крепостной генерала Жукова. Да... Большой художник по своей части.

Вяло, тоном засыпающего человека, он стал рассказывать мне про столяра Бутыгу. Я слушал. Потом Иван Иваныч вышел в соседнюю комнату, чтобы показать мне замечательный по красоте и дешевизне комод из палисандрового дерева. Он постучал пальцем по комоду, потом обратил мое внимание на изразцовую печь с рисунками, которых теперь нигде не встретишь. И по печи постучал пальцем. От комода, изразцовой печи, и от кресел, и картин, шитых шерстью и шелком по канве, в прочных и некрасивых рамах, веяло добродушием и сытостью. Как вспомнишь, что все эти предметы стояли на этих же местах и точно в таком же порядке, когда я еще был ребенком и приезжал сюда с матерью на именины, то просто не верится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думал: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строивший прежде всего прочно и основательно и видевший в этом главное, придавал какое-то особенное значение человеческому долголетию, не думал о смерти и, вероятно, плохо верил в ее возможность; я же, когда строил свои железные и каменные мосты, которые будут существовать тысячи лет, никак не мог удержаться от мыслей: Это не долговечно... Это ни к чему. Если со временем

какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкаф Бутыги и мой мост, то он скажет: Это два в своем роде замечательных человека: Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, и потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека, инженер же Асорин не любил ни людей, ни жизни; даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линии...

Я только эти комнаты топлю, бормотал Иван Иванович, показывая мне свои комнаты.